

Говард Филлипс Лавкрафт

Фотография с натуры

(Pickman's Model)

Только не думайте, Элиот, будто я сошел с ума, – у других бывают причуды похуже. Почему бы вам не посмеяться над дедушкой Оливера, который не желает садиться в автомобиль? Мне не нравится ваше проклятое метро, но это мое дело, да и на такси сюда добираться быстрее. Если бы мы приехали на метро, нам пришлось бы идти в горку от Парк-стрит.

Знаю, с виду я еще психованнее, чем был в нашу последнюю встречу в прошлом году, но врачи мне пока ни к чему. Хотя столько всего случилось, что, видит бог, странно, как я не спятил. Только не устраивайте мне допрос третьей степени. Помнится, прежде вы не были таким любопытным.

Ладно, хотите знать, что произошло, не вижу причин, почему бы вам об этом не узнать. Может быть, вам даже нужно знать, потому что вы стали писать мне, словно огорченный отец, с тех пор, как я порвал с Клубом искусств и стал держаться подальше от Пикмана. Теперь он исчез, и я вновь стал время от времени заходить в клуб, но нервы у меня не такие, как прежде.

Увы, мне неизвестно, что приключилось с Пикманом, но и строить догадки я тоже не хочу. Вероятно, вы догадались, что я не зря порвал с ним, и именно поэтому у меня нет желания даже задумываться о том, куда он мог подеваться. Это дело полиции, но ей не много удастся разыскать, судя по тому, что ей до сих пор неизвестно о старом доме в Норт-Энде, который Пикман нанимал под фамилией Питерс. Не уверен, что сам смогу найти его – да я и пытаться не стану, даже при свете дня! Ну да, мне известно, боюсь, в самом деле известно, зачем ему был нужен этот дом. И я расскажу вам. Уверен, вам не понадобится много времени, чтобы понять, почему я не обратился в полицию. Там меня попросят показать дом, а у меня нет сил снова идти туда, даже если бы я помнил дорогу. Что-то там было такое – теперь я боюсь спускаться в метро и (можете посмеяться надо мной) даже в подвал.

Надеюсь, вы понимаете, что я не бросил бы Пикмана по тем дурацким причинам, по которым его бросили вздорные старухи типа доктора Рейда, Джо Майнота или Розворта. Меня не пугает патологическое искусство, и, если художник гениален, как был гениален Пикман, знакомство с ним делает мне честь, неважно, какое направление принимает его работа. В Бостоне никогда не жил более великий художник, чем Ричард Аптон Пикман. Я говорил это прежде и говорю сейчас, и никогда не говорил ничего другого с тех пор, как он показал свою картину «Обед упыря». Помните, тогда Майнот отвернулся от него?

Знаете, нужно быть настоящим художником и по-настоящему понимать природу, чтобы творить, как Пикман. Любому журнальному поденщику под силу наляпать побольше краски и назвать это ночным кошмаром, или шабашем ведьм, или портретом дьявола, но лишь великий художник внушит вам ужас правдоподобием своего творения. Это потому, что настоящий художник досконально изучил анатомию ужаса и физиологию страха – линии и пропорции, соединяющиеся со скрытыми инстинктами или наследственной памятью о страхе, правильные цветовые контрасты и световые эффекты, пробуждающие ощущение новизны. Не стоит объяснять вам, почему от Фюсли по коже бегут мурашки, а от какой-нибудь дешевой картинки, помещенной

на фронтисписе книжки о привидениях, нас разбирает смех. Что-то этим людям удастся зацепить – помимо жизни, – и благодаря им мы тоже можем это на мгновение зацепить. У Доре такое есть. И у Сайма. И у Ангаролы в Чикаго. И у Пикмана это было так, как ни у кого не было до него и после – дай бог – не будет.

Не спрашивайте меня, что именно они видят. Вам ведь известно, в признанном искусстве весь мир делится на то, что живет, дышит и принадлежит природе, и на манекены или искусственный хлам, который коммерческая сошка тиражирует, как правило, в пустой мастерской. Ну, я хочу сказать, что у того, кто живописует сверхъестественное, должно быть воображение, подсказывающее ему образы, или, составляя реальные сцены, он заимствует понемногу из призрачного мира, в котором живет. В любом случае ему удастся получить результаты, отличающиеся от сладких мечтаний симулянта точно так же, как творения художника натуральной школы отличаются от вымыслов карикатуриста соответствующей школы. Если бы мне повезло увидеть то, что видел Пикман, – нет! Что ж, пора выпить, пока мы не забрались в дебри. Господи, меня бы давно не было в живых, если бы я увидел то, что видел этот человек, – если он был человеком!

Надеюсь, вы помните, что Пикман был особенно силен в изображении лиц. Не знаю, удавалось ли кому-нибудь после Гойи показать настоящий ад в чертах или выражении лица. А до Гойи были лишь средневековые мастера, из рук которых вышли горгульи и химеры, украшающие Нотр-Дам и Мон-Сен-Мишель. Они верили в разные вещи – и, может быть, они видели их. Помнится, однажды, за год до того, как уехали, вы спросили Пикмана, откуда, в конце концов, он берет свои образы и идеи. Правда, его смех был ужасен? Отчасти из-за этого смеха сбежал Рейд. Знаете ли, Рейд только что занялся сравнительной патологией и был переполнен медицинской чепухой о биолого-эволюционном значении психических и телесных симптомов. Он говорил, что Пикман вызывал у него день ото дня все большую неприязнь и почти пугал его – тем, как медленно и неприятно менялись черты его лица и весь облик; менялись не по-человечески. Постоянно рассуждая о диете, он говорил, что Пикман, по-видимому, проявляет полную ненормальность и эксцентричность в своих вкусах. Полагаю, если об этом предмете шла речь в ваших письмах, вы дали понять Рейду, что он позволил картинам Пикмана болезненно задеть его воображение и расстроить нервную систему. Я уверен в этом, потому что именно так говорил с ним сам – тогда.

Однако имейте в виду, что я порвал с Пикманом совсем по другой причине, потому что мое восхищение им, наоборот, становилось день ото дня сильнее; «Обед упыря» – величайшее достижение. Вам известно, что клуб не захотел выставить картину, Музей изящных искусств не принял ее в дар, и могу добавить, что никто не купил ее, поэтому Пикман держал ее до самого конца в своем доме. Теперь она у его отца в Салеме – вам ведь известно, что Пикман родом оттуда и среди его предков была ведьма, повешенная в 1692 году.

У меня выработалась привычка довольно часто заходить к Пикману, и особенно после того, как я начал собирать материал для монографии о сверхъестественном в искусстве. Возможно, идею мне подала его картина, но, так или иначе, сам Пикман стал для меня благодатным источником и фактов, и идей. Он показал мне все свои картины и рисунки, включая сделанные пером наброски, из-за которых, если бы они попались кому-нибудь на глаза, его наверняка исключили бы из клуба. Довольно скоро я стал искренним почитателем Пикмана и, словно школьник, часами слушал его искусствоведческие и философские рассуждения, настолько дикие, что они вполне могли привести их автора в Данверскую лечебницу. Из-за моего преклонения перед ним, да еще из-за того, что все меньше и меньше людей желало поддерживать с ним отношения, Пикман приблизил меня к себе и однажды вечером намекнул, что, если я не из слабонервных и умею держать язык за зубами, он может показать мне нечто совершенно необычное – куда более мощное, чем все картины, которые я видел в его доме.

– Знаете, – сказал он, – есть вещи, которые не подходят для Ньюбери-стрит, – те вещи, которые здесь неуместны и которые нельзя по-настоящему понять здесь. Мое дело – искать обертоны души, а какие могут быть обертоны у выскочки, живущего на улицах, проложенных на искусственной насыпи? Бэк-Бей пока не Бостон – пока он ничто, потому что у него не было времени накопить воспоминания и привлечь к себе местных духов. Если здесь еще остались привидения, то это смиренные привидения из низины и обмелевшей бухты, а мне нужны человеческие привидения – привидения высших существ, которые заглянули в ад и поняли смысл того, что увидели.

Художнику надо жить в Норт-Энде. Настоящий эстет примиряется с трущобами ради накопленных ими преданий. Черт побери, приятель, неужели не понятно, что такие места не сделаны, что они выросли? Поколение за поколением жили, мучились, умирали в них, причем в те времена, когда люди еще не боялись жить, мучиться и умирать. Неужели вам не известно, что в 1632 году на Коппс-Хилл была мельница, а половина сегодняшних улиц проложена до 1650 года? Я могу показать вам дома, которые простояли два с половиной века, а то и дольше; дома, которые были свидетелями того, что обратит в пыль современное здание. А что современным людям известно о жизни и властвующих над ней силах? Вы называете салемское колдовство обманом, но, держу пари, моя четырежды прабабка могла бы кое-что вам порассказать. Ее повесили на Виселичном холме, и при этом присутствовал ханжа Коттон Мэзер. Он, черт его подери, боялся, как бы кто-нибудь не вырвался на волю из его проклятой скучной клетки – жаль, никому не удалось его заколдовать и попить у него ночью кровь!

Я могу показать вам дом, в котором жил Мэзер, и еще один дом, в который он боялся входить, несмотря на все свои храбрые словеса. Ему-то были известны вещи, которые он не посмел вставить в свою дурацкую «Magnalia» или простодушные «Чудеса невидимого мира». Послушайте, а вы знаете, что под Норт-Эндом когда-то была целая сеть ходов, благодаря которым люди могли незаметно бывать друг у друга дома, на кладбище и под морем? Наверху занимались расследованиями и преследованиями – а внизу, под землей, день за днем творилось всякое, и по ночам неизвестно откуда доносился смех!

Клянусь, дружище, из уцелевших в первозданном виде десяти построек семнадцатого столетия в восьми найдется что-нибудь необычное в подвале. Месяца не проходит, чтобы нам не сообщили о рабочих, то тут, то там наткнувшихся на кирпичные своды и колодцы, которые никуда не ведут, – один возле Хенчмен-стрит можно было увидеть еще в прошлом году с эстакады. В прошлом были ведьмы со своим колдовством, пираты с награбленным добром, контрабандисты, капитаны каперов – и, скажу я вам, в прежние времена люди умели жить и умели раздвигать границы жизни! Наш мир был не единственным, который открывал для себя храбрый и умный человек, – ну уж нет! А теперь возьмите для сравнения наши дни и наших людей с их бледно-розовыми мозгами, из которых даже так называемые художники сразу начинают корчиться от страха, если на картине больше того, о чем позволено говорить за чайным столом на Бикон-стрит!

С настоящим меня мирит только одно – оно настолько глупо, что не позволяет себе заглянуть подальше в прошлое. Все ваши карты и путеводители ровным счетом ничего не сообщают о Норт-Энде! Да-да! Не задумываясь, я могу назвать вам тридцать-сорок улиц и целые лабиринты к северу от Принс-стрит, о которых никому не известно, кроме, может быть, десяти человек, если не считать кишаших там иностранцев. А что в них понимают даго? Нет, Тербер, в этих старых поселениях великолепно мечтается, ибо они переполнены чудесами и чудовищами и совсем не похожи ни на что привычное, и все же ни одна живая душа их не понимает и не пользуется ими. Хотя как раз одна живая душа понимает – я-то уж не напрасно копался в прошлом!

Послушайте, вас же это интересует. А что, если я скажу вам, что у меня есть вторая мастерская там, где я ловлю ночной дух древнего ужаса и рисую вещи, о которых даже подумать нельзя на Ньюбери-стрит? Естественно, мне незачем болтать об этом с нашими, будь они прокляты, старыми девами в клубе – с Рейдом, черт его побери, который всем уже нашептал, что я чудовище и мчусь куда-то на тобогане обратной эволюции. Правильно, Тербер, когда-то давно я решил, что кто-то должен живописать ужас, а не только красоту жизни, поэтому и отправился в те места, где у меня были основания искать его.

Я нашел дом, о котором вряд ли знают и трое из ныне живущих представителей нордической расы. Он находится совсем недалеко от эстакады, но его история уходит очень далеко в глубь столетий. Мне захотелось снять его из-за необычной кирпичной кладки расположенного в подвале колодца – одного из тех, о которых я рассказывал вам. Дом на глазах разваливается, так что вряд ли кто-нибудь поселится в нем, и мне даже стыдно сказать, как мало я за него плачу. Окна там заколочены, но это даже к лучшему, ибо мне совсем не нужен дневной свет. Пишу я в подвале, где вдохновляюсь сильнее всего, но все же обставил несколько комнат на первом этаже. Принадлежит дом некоему сицилийцу, а я снял его под фамилией Питерс.

Итак, если не возражаете, сегодня же и отправимся туда. Думаю, вам понравятся картины, ибо, как я уже сказал, позволил себе зайти в них немножко дальше. Это недалеко – иногда я хожу пешком, чтобы не привлекать внимания любопытных, появляясь в таком месте на такси. От Южного вокзала до Бэттери-стрит доедем на поезде, а там всего ничего пешком.

Итак, Элиот, когда я выслушал все это, то уже с трудом сдерживал себя, чтобы не припустить бегом и нормальным шагом дойти до первого попавшегося нам свободного такси. На Южном вокзале мы пересели в поезд и около двенадцати часов, выйдя на Бэттери-стрит, направились мимо старого причала по набережной Конституции. Куда и где мы свернули, я не запомнил и не могу ничего сообщить вам об этом, знаю лишь, что мы были не на Гриноу-лейн.

Когда же мы свернули, то нам пришлось подниматься в гору по безлюдной улочке, самой старой и самой грязной, какую я только видел в своей жизни; все дома на ней были с ветхими крышами, разбитыми окошками и древними полуразрушенными трубами, отчетливо видными на фоне лунного неба. Похоже, там не было и трех домов, которые строились не во времена Коттона Мэзера, – в самом деле, я разглядел два дома с низко нависающими крышами, а один раз даже нам попаласть островерхая крыша, почти забытая предшественница двускатной крыши, хотя, говорят, ни одной такой крыши не сохранилось в Бостоне.

С этой плохо освещенной улицы мы свернули налево на такую же безлюдную и еще более узкую, погруженную во тьму улочку и через минуту вновь повернули, но уже направо. Почти тотчас Пикман достал фонарик, и я увидел старинную дверь, обшитую десятью филенками, всю изъеденную червями. Когда он отпер ее и впустил меня внутрь, моим глазам предстала пустая прихожая, когда-то, по-видимому, великолепно смотревшаяся благодаря дубовым панелям – очень простая на вид, она будоражила воображение напоминанием о временах Андроса и Фиппса и ведьмовства. Мне было предложено пройти в дверь налево, где Пикман зажег керосиновую лампу и предложил располагаться как дома.

Вам известно, Элиот, что я принадлежу к тому типу людей, которых обычно называют издавшими виды, но, признаюсь вам, меня повергло в ужас то, что я увидел на стенах в той комнате. Я увидел его картины – которые он не мог написать и даже показать на Ньюбери-стрит – правильно он говорил, что «разрешил себе повольничать». Вот – хотите еще выпить? – мне не помешало!

Не имеет смысла рассказывать, что было на них изображено, потому что никакие слова не в силах описать невыносимый адский ужас, невыносимую мерзость и нравственный смрад, исходившие от обычных мазков. Там и в помине не было экзотической техники, например, Сидни Сайма или сатурнианских пейзажей и лунных поганок, которыми леденит кровь зрителей Кларк Эштон Смит. Фон, как правило, составляли старинные кладбища с церквями, лесные чащи, морские утесы, кирпичные подземные ходы, обшитые деревянными панелями комнаты или обыкновенные подвалы. Чаще всего встречалось кладбище на Коппс-Хилл, которое, по всей видимости, располагалось недалеко от дома Пикмана.

На первом плане располагались чудовищные безумцы – в своем патологическом искусстве Пикман отдавал предпочтение демоническим портретам. Фигуры большей частью были не вполне человеческими, но в разной степени приближавшимися к человеческим. Как правило, двуногие, они чем-то напоминали псов и заваливались вперед. Кожа у них тоже производила малоприятное впечатление, словно была резиновой. Фу ты, я и теперь их вижу словно воочию! Их занятия – нет, даже не проси меня рассказывать в подробностях. В основном они ели – не знаю что. Иногда Пикман писал целые группы на кладбищах или в подземных ходах, которые, похоже, дрались из-за добычи, – скорее из-за найденного сокровища. Поражала экспрессия на невиданных лицах его тайных натурщиков! На нескольких картинах эти существа прыгали ночью в открытые окна или сидели на спящих людях, вгрызаясь им в горло. На одной он показал их, сбившихся в круг и лающих на повешенную на Гэллоус-Хилл ведьму, чье мертвое лицо несло на себе следы несомненного сходства с их лицами.

Только не подумайте, что мне стало не по себе от всех этих страхов. В конце концов, мне не три года и я успел повидать много подобного. Нет, Элиот, это *лица*, проклятые *лица*, которые распускали слюни и с вожделением, как живые, взирали на меня с картин. Господи, я в самом деле поверил, что они *могут быть живыми!* Ужасному колдуну удалось зажечь краски адским пламенем, а его кисть, как по волшебству, умела создавать кошмары. Подайте-ка мне, Элиот, графин!

Одна картина называлась «Урок» – я видел ее, пусть смилуется надо мной господь! Представьте – только вообразите – церковное кладбище и невыносимых собакоподобных существ, усевшихся на корточки в круг, чтобы научить маленького ребенка есть по-ихнему! Цена подмены, полагаю, – вам ведь известен древний миф о таинственных существах, подкладывающих в люльки своих детенышей взамен нормальных младенцев, которых они крадут. Вот и Пикман показал, что происходит с украденными детьми – какими они вырастают, – и мне показалось, что я вижу отталкивающее сходство в человеческих и нечеловеческих фигурах. Какая бы ни была степень патологии в его явных нелюдях и деградировавших людях, ехидная кисть Пикмана показывала их связь и эволюцию. Собакоподобные существа произошли от людей!

Не успел я спросить, что он сотворил с подкинутыми людям младенцами собакоподобных, как мой взгляд упал на картину с их изображением. Старый дом пуританина – комната с нависающими балками, решетчатыми окнами и тяжелой мебелью семнадцатого века, где вся семья собралась вокруг отца, читающего Писание. Благородством и почтительностью были отмечены все лица, кроме одного, на котором лежал отсвет глумливой преисподней. Лицо принадлежало юноше, якобы сыну благочестивого отца, а на самом деле отродью нечистых тварей. Это был подманыш – и, позволяя себе нечеловеческий сарказм, Пикман придал его чертам сходство со своими чертами.

К этому времени Пикман зажег лампу в соседней комнате и вежливо придерживал дверь, спрашивая, не желаю ли я взглянуть на его «современные этюды»? У меня не хватило сил высказать ему свои впечатления – от страха и отвращения я потерял дар речи, но, думаю, он все

понял и был доволен результатом. Хочу уверить вас, Элиот, что я никогда не был тряпкой и не поднимаю шум, если вижу какую-нибудь чертовщину. Мне уже немало лет, я получил приличное образование, да и нам с вами пришлось довольно много беседовать во Франции, чтобы вы принимали меня за человека, которого легко выбить из колеи. Не забывайте, что я к тому же занимался этим искусством и привык к пугающим картинам, на которых колониальная Новая Англия – нечто вроде ада на земле. И все же, несмотря на это, следующая комната исторгла из меня вопль ужаса, и мне пришлось прислониться к дверной раме, чтобы не упасть. В ней Пикман показал стаю упырей и ведьм, проникших в мир наших предков, и как раз она превратила в кошмар мою жизнь!

Черт, этот человек был настоящим художником! Там висела картина «Происшествие под землей», на которой несколько отвратительных существ вылезают из неведомых катакомб через трещину в полу на станции Бойлстон-стрит и нападают на стоящих на платформе людей. На другой картине был изображен современный фон и пляски между могилами на Коппс-Хилл. Я обратил внимание еще на несколько сценок в подвалах, куда чудовища вылезли из нор и щелей, чтобы усесться на корточки за бочками и печами и, осклабясь, ждать появления первой жертвы.

Еще одно мерзкое полотно изображало поперечный разрез Бикон-Хилл и похожие на муравьиные армии смердящих чудовищ, протискивавшихся в узких ходах, которые пронизали всю землю. Там было много полотен с плясками на современных кладбищах, но мне попала на глаза картина, которая почему-то подействовала на меня сильнее всех остальных, – на ней был изображен какой-то склеп, где десятки тварей сгрудились вокруг одной, державшей в руках всем известный путеводитель по Бостону и, по-видимому, вслух читавшей из него. Все показывали на одно место в книге, причем лица тварей были искажены эпилептическими гримасами громового хохота, так что мне даже показалось, что я слышу его мерзкие отголоски. Под картиной была подпись: «Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло похоронены на горе Оберн».

Постепенно мне удалось вернуть присутствие духа и пообвыкнуться в этой комнате с ее чертовщиной и извращенностью, и я стал анализировать свое неприятное болезненное состояние. Во-первых, сказал я себе, картины отталкивают меня абсолютной бесчеловечностью и низменной жестокостью их автора. Наверняка он непримиримый враг всего человечества, если так наслаждается муками души и тела и деградацией смертной оболочки. Во-вторых, они внушают ужас, потому что написаны талантливейшей рукой. Искусство Пикмана – то искусство, которое убеждает; когда мы смотрим на его картины, мы видим как будто живых демонов и пугаемся их. И самое интересное заключается в том, что Пикман не пользуется никакими ухищрениями. У него нет размытых контуров, нет смещений в пропорциях, нет условных изображений; его рисунок тверд и точен, и все детали прорисованы с болезненной ясностью. А лица!

Перед нами не художественная интерпретация, а сам ад, показанный нам с кристальной ясностью и предельной объективностью. Господи, так оно и есть! Этот человек ничего не фантазировал и не романтизировал – он даже не пытается навязать нам болтушку из эфемерных мечтаний, но холодно и иронически показывает неизменный, механистический, крепко укорененный мир кошмаров, который он видит целиком, ярко, точно и безошибочно. Один бог знает, каким был этот мир и где Пикман подглядел своих богопротивных тварей, которые скачут, прыгают и ползают в нем; но каков бы ни был нечестивый источник его образов, одно ясно как день: Пикман был во всех смыслах – в своих идеях и их воплощении – неизменным, последовательным, почти убежденным *реалистом*.

Тем временем мой хозяин уже вел меня в подвал, в свою любимую мастерскую, и я старался заранее взять себя в руки, чтобы не поддаться адскому воздействию незаконченных картин. Едва

мы достигли последней отсыревшей ступеньки, как он осветил фонариком угол довольно большого пространства, показав мне круглую кирпичную кладку того, что наверняка было большим колодцем в земляном полу. Мы подошли поближе, и мне показалось, что он не меньше пяти футов в диаметре, со стенами в добрый фут толщиной и дюймов на шесть выступает над полом – надежная работа семнадцатого века, если я не ошибался. Пикман сказал, что как раз это он имел в виду – вход в туннели, которые пронизывают весь холм. Случайно я обратил внимание, что вход не замурован и его закрывает тяжелый деревянный диск. Представив себе, куда может привести этот ход, если дикие намеки Пикмана не были простой риторикой, я вздрогнул, но потом повернулся и отправился следом за ним в узкую дверь, что вела в довольно большую комнату с деревянным полом, обставленную как мастерская. Необходимое для работы освещение исходило от карбидной лампы.

Незаконченные картины на мольбертах и вдоль стен были такими же отвратительными, как картины наверху, и демонстрировали тщательность художественного стиля Пикмана, который скрупулезно планировал рисунок, и карандашные линии лишь подтверждали дотошность, с какой Пикман выверял перспективу и пропорции. Великий человек – я говорю это даже теперь, зная столько, сколько не знает больше никто. Мое внимание привлек большой фотоаппарат, лежавший на столе, и Пикман сказал, что берет его с собой, когда ищет задний план для своих работ, и фотографии помогают ему вспоминать тот или иной пейзаж, а также избавляют от необходимости тащить мольберт куда-нибудь в город. Фотографию он считал ничем не хуже реального пейзажа, если предстояла долгая работа, и заявил, что уже привык пользоваться фотоаппаратом.

Меня что-то беспокоило, когда я рассматривал внушающие отвращение абрисы и полузаконченных чудовищ, заполонивших мастерскую и злобно взирающих на нас, но когда Пикман сдернул тряпку с большого полотна, стоявшего сбоку, я не смог удержаться от громкого крика – второго за ту ночь. Эхо повторяло и множило его под темными сводами древнего вонючего подвала, и мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не разразиться истерическим хохотом. Боже милостивый! Не знаю, Элиот, что там было правдой, а что горячечным бредом. Не может быть, чтобы на земле существовало нечто подобное!

Это было нечто огромное и богопротивное со сверкающими красными глазами, державшее в острых когтях то, что некогда было человеком, и грызшее его голову, как ребенок грызет конфетку. Застыв в полусогнутом положении, он – это сразу чувствовалось, стоило лишь посмотреть на него, – был готов в любую минуту бросить свою жертву и искать добычу повкуснее. Дьявол его побери, ведь даже не потусторонний сюжет нагонял на смотревшего вселенский ужас – не сюжет и не песья голова с торчащими ушами, не налитые кровью глаза, не плоский нос и не слюнявый рот. Не чешуйчатые лапы, не плесень, покрывавшая его тело, и не копытца – хотя даже все это по отдельности могло лишить чувствительного человека рассудка.

Техника, Элиот, – дьявольская, богопротивная, потрясающая техника! Сколько я живу, а мне ни разу не приходилось видеть столько жизни на полотне. Это было чудовище – оно сверкало глазами и грызло добычу, грызло добычу и сверкало глазами, – а я думал только о том, что, лишь наплевав на законы природы, человек сумел написать такое, не имея природы – не видя другой мир, на который не мог взглянуть ни один смертный, не продав душу дьяволу. К свободной части полотна был прикреплена бумага, скрутившаяся в трубочку, – вероятно, подумал я, фотография, с которой Пикман будет писать страшный, как уже явленный кошмар, фон. Протянув руку, чтобы развернуть листок и взглянуть на него, я вдруг увидел, что Пикман бросился ко мне. С тех пор как я, в ужасе, закричал во второй раз, Пикман почему-то внимательно прислушивался к гулкому эху, непривычному в этом подвале, а тут чего-то испугался, правда, не так сильно, как я, и его страх

был более материальный, чем мой. Он вынул револьвер и жестом приказал мне молчать, а сам вышел из мастерской и закрыл за собой дверь.

Кажется, на мгновение меня как будто парализовало. Прислушавшись, подобно Пикману, я вроде бы уловил слабый шорох, а потом что-то похожее на тихий визг или блеяние, доносившиеся неведомо откуда. Мне привиделись крысы, и я содрогнулся всем телом. Потом раздался приглушенный грохот, и у меня мурашки поползли по спине – как будто кто-то боролся, не желая шуметь, хотя мне трудно передать словами, как все было на самом деле. Разве что с таким шумом тяжелое дерево падает на камень или кирпичную кладку – дерево на кирпич. Почему именно это пришло мне в голову?

Грохот раздался вновь и теперь был громче. Все вокруг закачалось, как будто дерево упало дальше, чем в первый раз. После этого послышались громкий скрип, неразборчивые выкрики Пикмана и оглушительная пальба из шестизарядного револьвера, столь же драматичная, как пальба укротителя львов в цирке. Опять я услышал приглушенный то ли визг, то ли стон и шум от падения, по-видимому, тела. До меня вновь донеслись удары дерева о кирпич, а потом наступила тишина и открылась дверь – признаюсь, вот тут меня заколотило как следует. Появился Пикман с еще дымящимся револьвером, на чем свет стоит поносивший крыс и старый колодец.

– Один бог знает, Тербер, что они едят, – с усмешкой произнес он, – а здешние древние туннели проходят под кладбищем, под обиталищем ведьм и под морским берегом. Как бы там ни было, они, видно, совсем изголодались, потому что все их проклятое племя примчалось сюда. Думаю, ваши крики всполошили их. В этих местах надо всегда быть настороже – наши милые грызуны всегда рядом, хотя мне иногда кажется, что в них есть что-то положительное с точки зрения антуража и колорита.

Собственно, Элиот, на этом наше ночное приключение закончилось, Пикман обещал показать свой дом, и он, господин свидетель, выполнил обещание. Потом он повел меня по улице, но как будто в другом направлении, потому что, когда мы подошли к горевшему фонарю, то мне показалось, я узнал улицу с обычной застройкой, то есть стоящими вперемежку многоквартирными домами и старыми постройками. Мы были на Чартер-стрит, однако как попали на нее, я, признаюсь, из-за волнения не заметил. Поезда уже не ходили, и мы отправились пешком по Ганновер-стрит. Это я помню. С Тремонт-стрит мы свернули на Бикон-стрит, и на углу Джой-стрит, где мне предстояло свернуть, Пикман меня покинул. Больше я с ним ни разу не разговаривал.

Почему? Не торопитесь. Сначала я позвоню, чтобы нам принесли кофе. Выпили мы уже достаточно, так что кофе не помешает. Нет, меня поразили не картины, которые я увидел в его доме, хотя, держу пари, из-за них его наверняка выгнали бы из девяти десятых домов и клубов Бостона, и теперь вам понятно, почему я избегаю метро и подвалов. Это было кое-что, найденное мной утром в кармане пальто. Помните свернутый в трубочку листок бумаги, приклеенный к ужасному полотну в подвале? Тогда мне подумалось, что это фотография какого-то места, в которое он собирался поместить своего монстра. Последний удар я получил, когда развернул фотографию, зачем-то сунутую мной в карман. А вот и кофе – если вы человек умный, Элиот, то выпьете его черным.

Так вот, из-за этой бумажки я и перестал видаться с Пикманом; с Ричардом Антоном Пикманом, величайшим художником, с каким я когда-либо был знаком, и отвратительнейшим из людей, которому не хватало обычной жизни и понадобились потусторонние тайны и потустороннее безумие. Элиот, старик Рейд оказался прав. Пикман не совсем человек. Либо он сам порождение некоей тени, либо нашел способ отпереть запретную дверь. Сейчас уже все равно, потому что его

нет – он навсегда ушел в неведомую тьму, в которую любил наведываться. Пожалуй, надо зажечь люстру.

Только не спрашивайте у меня объяснений, ничего не спрашивайте по поводу листка бумаги, который я сжег. И не спрашивайте, что я думаю о кротовьей возне, которую Пикман постарался свалить на крыс. Знаете ли, есть тайны, которые дошли до нас из старого Салема, да и Коттон Мэзер рассказывает иногда вещи еще более странные. Теперь вам известно, почему чудовищные картины Пикмана дышат жизнью: помните, как мы недоумевали, откуда он берет свои лица?

Ну вот – на том листке не оказалось пейзажа. На нем было всего лишь чудовищное существо, которое Пикман писал на той ужасной картине. Он писал с фотографии – а фоном служила выписанная во всех деталях стена в подвальной мастерской. Клянусь богом, Элиот, *фотография была сделана с натуры.*

*Перевод: Людмила Володарская
2000 год*